

ОСТАП СЛИВИНСКИЙ

ОРФЕЙ

перевод с украинского

СТАНИСЛАВ БЕЛЬСКИЙ

УДК 82-1
ББК 84.4УКР6кр-РОС
С47

ОСТАП СЛИВИНСКИЙ

Поэт, переводчик, критик, эссеист.
Родился в 1978 г. во Львове. Книги стихов: «Жертвоприношення великої риби» (1998), «Полуднева лінія» (2004), «М'яч у п'ятімі» (2008), «Адам» (2012), в переводах – "Ruchomy ogies" (Вроцлав, 2009), «Беглый огонь» (Москва, 2013), «Piesok a vino» (Братислава, 2015), "Im fünften Jahrtausend erwachen" (Берлин, 2017). Лауреат литературной премии «Привітання життя» им. Б.-И. Антоныча (1997) и премии Хуберта Бурды для молодых поэтов из Восточной Европы (2009). Переводит художественную и научную литературу с польского, болгарского, македонского, английского, белорусского, русского.
Соредактор польско-немецко-украинского литературного журнала «Радар».
Кандидат филологических наук. Проживает во Львове.

Сливинский Остап

С47 Орфей: сборник поэзии / перевод с украинского
Станислав Бельский – Днепр: Герда, 2017. – 64 с.
ISBN 978-617-7097-67-8
Переводы поэзии современного украинского поэта.

УДК 82-1
ББК 84.4УКР6кр-РОС

15 секвенций

С этим зубом, который растёт втайне, пользуясь моим сном,
Чтобы однажды утром, быть может, засверкать,
как страшное оружие,

Со всё ещё неплохим телом, хотя уже
и с замедленным течением соков
И добавочной миллисекундой, необходимой,
чтобы отреагировать,

Я всё ещё могу попытаться
подкупить хотя бы заваливающего ангела.

Рассерженные боги всей моей жизни,
грозные и ласковые духи,
Ожидающие от меня жесточайшего «нет», колесо,
Которое катится само собой, гонимое ветром
и предчувствием ливня,

Все существа, которые приходили,
чтобы что-нибудь мне показать,
Здесь затихают и отдаляются,
словно записывая в обратную сторону.

Ровный ритм, как на суданском рынке, иначе говорит
О той же простенькой печали.
Заблудшее посольство вольфрама,
Подающее мне мерцающий знак. Какое имеет значение,
откуда начинать
Отход: всё записано внутрь, до этого неясного знака,
Самочитающегося иероглифа, толкующего себя
как Спазм и Труба.

Выход

«А можно не иметь никаких убеждений, и тогда
разбитый термометр будет не более,
чем освобождением от страданий;
туча цинковой пыли растает над нашим
неприбранным ложем».

Я – мера значения, которую можешь удержать стиснутыми,
хотя и ослабшими после сна
коленями, и это всё на сегодня. Переменное напряжение
освещения и цвета, замеры прозрачности кожи,
микроскопические лоты,
погружённые на глубину нескольких миллиметров;

внизу, при выходе, нам покажут чертежи и схемы.
Но мы можем это
и не подписывать. За номер с пескоизоляцией
ещё не внесена предоплата.

За нас не поручатся специалисты
по безопасным окнам на крыше,
безопасным бритвам, небьющимся стаканам.
Пустыня отложила личинку в устье артерии.

Ждать недолго: кашель в невиннейшие мгновения
даёт небольшую надежду.
Выходим по одному, чтобы страх не зажёл другие сухие
кроны;
круглосуточное наблюдение разве что освободит нас
от излишней
сентиментальности. Дальний ливень, дальняя погоня,
чьё-то дыхание

отступает на последние, отдалённейшие рубежи.
Переходим к следующему окну.
«Лицо, видневшееся в свете, отражённом
от белой палубы «Санта-Люсии»,
вероятно, не удастся узнать никогда». Я догадываюсь,
что это значит.
Мы пришли, когда уже выпустили первую порцию пыли,

когда те первые уже спали на мягких бородах, а последние
всё ещё морочились с неудобными штопорами.

* * *

Надо было легко оттолкнуться и плыть.
Развёрнутый течением катер, над которым исходила паром
Кухня оттепели. А дальше – двое из них, рассёдланные,
С выпирающими лопатками, между которыми собралась вода.

Они любят улечься в ил, где заканчивается
Камыш, и кажется, что упали две кометы,
Завёрнутые в чёрный брезент, с какими-то опорами,
С меридианами рёбер, которые просматриваются

Насквозь. Тут происходит их бессвязная любовь
Среди круглосуточной обсерватории трав.
Птица вод, шпулька света, гарцующий всадник ветра,
Как водомерка, невесомо и точно, я переписываю

Их курсив.

Стихи на конец осени

Я уснул быстро, как никогда, с рыболовным крючком,
загнанным в палец,
вот такая история, всё начиналось с бегства вверх
по размокшим ступеням,
попросту выдолбленным в глинистом склоне,
а закончилось в луже крови,
которая была фонтаном из разбитой ампулы. Если страшно,
лучше всего уснуть.
Ещё была история о рыбе, у которой в желудке нашли
неразорвавшийся патрон, говорят,

Завтрак на траве

Où es-tu passe mon Saint-Germain-des-Prés?..

Тонкая шоколадная пластинка,
«маленькие завтраки»; где-то уже закончилась
эта сессия звукозаписи с участием
слонов и каштанов, только вот на каком берегу
теперь разгружают звук?
Pras-pras! Можно вообще опуститься к звукоподражанию,
к жестикуляции –

Река всё равно будет приплывать к тебе каждый раз,
как дельфин, со своим
свистом и пением, возможно – ребёнком, который сидит
на спине и выбрасывает флажки
фанерным самолётам. Небо над бассейном.
Всё, что было легче тебя, давно уже там.
Четыре к восьми, пять к одному, к нулю, и ещё раз –
с самого начала, с поднятия якоря.

One smoky hour, before the day falls

Теперь осталось только сказать, куда меня везти.

Всё это дело обычной абстракции – час
и двадцать пять минут,
время, оставшееся до открытия главных ворот,
торжественный выезд и въезд,

туман, замшелая деревянная серна в углу
уже потемневшего двора,
«К счастью, разочарование возвращает нас раньше,
чем мы успеваем зайти с чёрного хода и выставить себя
на посмешище».

Gloria! Gloria! Имя возникает сразу же с её выходом
на наш скромный подиум.
Уже покрасневшиеся, «turned on», мы одалживаем друг
у друга табак и смеёмся
в полупустые кружки. Всё так, как и было на постерах.

Ты веришь, что это возможно – этот Диснейленд в снегах,
весёлые городишки,
эти покрасневшие от вина воротники? Что-то протекает,
но в небе
как раз поднимают очередной занавес,
начинает тарыхтеть электростанция,

и мы забываем подобрать ноги. Дальняя, дальняя слава.
Остаётся час и двадцать пять минут,
чтобы найти какую-то формулировку
для нашей страсти, для позиции наших рук. Потом может
пошатнуться трухлявый причал,

вымокшие, мы утратим сходство с героями,
в реестре теней останется
незаполненная графа. Чьё-то фото на стене
остывшей кухни, зачёркнутое двумя
перекрещенными линиями – зачем? Куда вытекает газ,
который должен был разбудить

сонную артерию? Почему на условленный пароль
не отзывается саксофон
в мансарде напротив, не реагирует на три короткие
вспышки фонарика?
Четыреста сорок подписей за то, чтобы лишить нас
неприкосновенности,

Один, один дымный час – и всё сложится в позицию
для родов,
в афоризм. На случай допроса нужно вспомнить
названия болотных бабочек,
кистепёрых рыб. Почему не выехали,
хотя чемоданы были уложены?

Имена сообщников? Нет сообщников, и не уложены чемоданы,
всё было спектаклем, чтобы поднять дух пленных:
намокший порох, моль за обшлагами, швабры,
замшелый двор, ворота, которые всегда открыты.

Беглый огонь

Простыня, нагретая за вечер испарениями реки,
разодранная тройным
ножом следа; что-то преследовало нас – сломанная ветка,
куриная кровь – всю дорогу. Помнишь,
когда ты впервые ощутила страх?
Звезда, казалось, светит изнутри, из-под смятого
брезента, со дна
того мусорного озера, источники которого
мы неосторожно открыли.
Раз и два, можно не считать, ты уже спишь,
вписанная в полукруг палатки,
и далее – в неправильный многоугольник карьера,
забыв о велосипеде,
который мокнет под дождём.
Беглый огонь, Lauffeuer, так мог бы называться
межконтинентальный экспресс
или какая-нибудь международная разведывательная операция,
но почему-то здесь,
на краю обжитой части Европы, это слово возвращается,
как пароль,
блестит на мокрых наэлектризованных рельсах,
дважды вспыхивает в тёмной будке
обходчика. Кто-нибудь там проснулся?
Сколько знаков ещё нам нужно, чтобы мы повернули назад?
Из-за густого дождя, наверное, не воспользуемся
приглашением пропахших глиной
и овечьим сыром пастухов из долины,
так и останемся тут, среди вспышек, от которых
полотно просвечивает каждой ниткой.

Застывшая кровь оставляет за собой вулканические русла,
сожжённые травы; мы
ещё чуть-чуть на плаву, а потом – уже навсегда на плаву,
непотопляемые, как ливень,
стоим под плотно окружённым небом, откуда что-то слышно
сквозь охрипший мегафон, как
с места катастрофы. Кто-нибудь заточён
в перевёрнутом вагоне?
Река где-нибудь сорвала мост, по которому ехал автобус
с побеждённой футбольной командой?
На этот час новостей больше нет, приходят туманные слухи.
Тем не менее,
неподписанным можно и пренебречь.
Неиспользованный свет вернётся назад,
по неизвестному тебе адресу.
На рассвете я иду на берег искать забытый тобой
купальник, момент запоздалой,
да ещё и очень сомнительной близости.
Велосипед лежит там, где и должен,
политый, проросший отблесками.
Всё работает в заданном ритме:
дыхание реки, перестук рельсов,
дождь погасил солому, которая горела, как маяк,
разложенная на железных прутьях.
Огонь остановился в этой обугленной клетке.
Его последний вздох был около четырёх утра,
когда живые редко думают о тех,
кто уже почти там.

* * *

Карта Гренландии светила над нашей постелью
все летние ночи,
словно созвездие Тюленя или долговязый
глубоководный маяк.
Почему сквозь толщу воды не видно мускулистый механизм,
который там точно работает?

О боже, какие-то голоса, какие-то другие разговоры текут
в твоём теле в такую пору.
И я срываюсь, облитый холодным потом, слушаю,
как он бУхает, совершенный, один на всех.

Два стихотворения для Н.К.

1.
Был только шестой час, а снаружи уже правило столько
светоносных королев! Моя Сатанка!
Свет словно пробивал насквозь простыню,
мне стало стыдно, но ненадолго,
там словно спали какие-то водоросли, под покрывалом
было как внутри прозрачного кита,
и поверь, я увидел там центр земли, он вертелся,
как красная наклейка на пластинке,
он вонял, как подождённая плёнка, вонял рыбой, которая
не успела вырваться из-под жгучей мантии –
знаю, ты уже не спала почти два часа и успела приготовить
завтрак, который теперь остывает на кухне,
и долго стояла рядом со мной, открыла и затворила окно,
и вернула детям мяч,
случайно влетевший на веранду, но видела ли ты то же самое?
Как сквозь горячий воздух?
И слышала ли этот гул глубин, душных и радужных?
Иначе почему
мы словно затанцевали, встретившись взглядом –
через мгновение, когда я окончательно проснулся?

2.
Верь мне, светлинка.
Даже когда –
когда со дна подходят тени рыб, искрясь на солнце, –
и я вижу их мутную
сторону, путаюсь, палю вслепую – даже тогда –
верь мне, светлинка.

Сейчас, когда, кажется, целый океан упал на маленький город,
и шумят деревья, перекачивая прозрачную воду,
и мы словно бездомные, наприсившиеся заночевать
в автоматической прачечной,
притихшие и счастливые среди всеобщего плеска,
в танце на рее, в сердце кометы,
полной старых имён и дат, внезапно сплавленных
в одно жгучее ядро,
разогнавшихся так, как только мы можем
бежать внутри своей любви.

Светлинка, я не могу без твоего дыхания.

Christmasutra

Жизнь
нарастает медленно и неуклонно, словно красочный риф.
Станиоль, старость деревьев, стадион, превращённый
в свободный микрофон поэзии,
сетка, через которую я перелетаю мячом, мне хорошо,
я спокойная пуля,
не имеющая назначения, ведь есть лишь молчание штаба,
одно лишь сиянье без слов,
телефон включился и засверкал из кармана,
как свихнувшаяся звезда.

Умей слушать, потом растворяйся бесшумно,
будь сахарной ватой,
вьетнамским коктейлем с названием «Колыбель крабов»,
таким заливают
восточную грусть.
Площадь небесного спокойствия, я молюсь
в неудобной позе среди
свежеиспечённых рождественских шоперов.
Как мне всё это?
ОУ.

* * *

Мне снится Богуш Золаи,
вижу его хрустальную руку
с налипшими парашютами одуванчиков.
Его ангел отправляется за сдутым мячом,
унесённым медленным течением. Ступает в воду,
не уверенный в этой стихии.
Открывается сухой плод прошедшего дня,
полный загадок и наблюдений:
Богуш на пристани, его волосы и рубашка спокойны,
несмотря на прибрежный ветер, надувающий полосатый
сачок метеостанции;
воздушный шар освещает пейзаж, полыхает его адское ядро.
Птицы садятся на голову зарезанного жеребёнка,
стоит нам обернуться – и мы
снова видим, как падают их чёрные тени.
Неподалёку граница: фургоны тихо
трогаются в ночь по белёной стене берега,
отбрасывая полумесяцы магниевого света.
Богуш выносит нам скамейки, плетёные подстилки.
Гудят казаны над медной рекою Кереш,
поднимая воду на ночь; быстрее вращается мельничное колесо,
не отягощённое хлебами.
Я знаю, как может быть там – выше по течению, на чердаке,
в дебрях виноградника.
Знаю, как пусто звучат мехи, как странствующий свет
расшатывает трухлявую колоду тела,
как изменяются соседи. Когда-нибудь
единственная дорога сюда
исчезнет в пыли, и что будет тогда? Обнажится камень,
забьют источники? Богуш
показывает могильную плиту среди сада – священник.
Сад открывает свои филиалы на перифериях мира.
Богуш, ты там, где двое, четверо, перекрестившись,
садятся во внутреннем дворике вечера,
образованном его походкой, подступами, его глухими окликаками.

Ты разводишь огонь в наполненной углем сурдине,
от чего пытаешься уберечься?
От ночных отголосков, похожих на громыхание тел
по трубопроводам неба?
От перелётов ангелов, знающих своё место и время?
От линий фронта, неудержимо
сжимающих своё кольцо?
Глаз тайфуна, в котором ночуют твои птицы.
Ты находишь пристанище в Книге,
вино, которое ты пьёшь, находит успокоение в твоём глотке.
А где смятение лозы,
и почему в твоей Книге ничего не написано
о тревоге виноградаря?
И ты, считающий себя опытным метеорологом,
можешь ли ты
разобрать письма на воздушных змеях –
их запускают репортёры,
откомандированные на ту сторону?
Ты хотя бы слышишь их лепет?
«Главное, говорит Богуш, сумеешь застать один из часов
на горячем, и тогда он,
всё ещё неосмотрительно открытый, проведёт нас
по коридору всех последующих часов».
Как правильно прочесть дребезжание ключей
далеко впереди,
клепание кос, ритмы вуду, тёмные следы
на подветренных стенах – от крестов,
связанных из двух палочек?
Что предаёт нас перед высокой водой – эти несколько
вопросов, расхристанные паперти,
где мы стоим стайками, передавая из рук в руки хлеб
и маслины?
Бессонница открывается здесь пунктуально
и торжественно, как новый
ярко освещённый супермаркет, сюда приходят
и прицениваются,
цыгане гонят сюда всех своих коней,
«могу ли я заночевать в твоей бессоннице?»

Оборачивается Богуш, которому кажется неудобным
любое молчание.
Я знаю, воздух играет на канатах, облепленных
живым пластырем ладоней,
Это и называется аэрофон – тот ветер, который
запутывает тебе между потных
Пальцев звуки духового оркестра
с венецианского берега, пока на твоём
Албанском паспорте Адриатика ставит солёную визу.
Или тут, на праздничном молу, какая-то подпись
становится неразборчивой,
Как-то иначе по лицу стекают капли? Женщина,
о которой ты мог лишь мечтать,
Отдаётся тебе внезапно, тут же,
на просоленных портовых досках?
Да, куда бы ты ни шёл, ты лишь удаляешься,
даже когда поворачиваешь обратно.
Когда-то здесь был рыбацкий посёлок, теперь остался
только маяк с гнездовьями чаек.
«Твои тени и демоны, даже если Ты призовёшь их,
остановятся в шаге перед Тобой,
так и не попробовав Твоих рыбы и вина».

Tribute to Marcin Świetlicki

Погаси все лампы, оставь только свет приёмника.
Небольшая пустыня света, куда высланы
арестованные радиостанции,
фонарь, автоматически загорающийся
от малейшего движения – когда кто-то приходит оттуда,
чтобы постучать ключом о притолоку, напомнить о себе,
когда проходит кот с ещё темнеющим в нём иероглифом сна.
Оказывается, рядом была девушка, и она встаёт,
чтобы поискать

другую станцию, и ты смотришь на её большую
незаконченную тень,
не зная, в какое мгновение всё потерял:
когда въехал ночью во двор и какое-то время ждал,
не выключая фар?
когда вышел и двинулся следом, словно населённый колониями
фосфорных рыбок, и не сломал кости света, молчания?
Почему река со всеми её огнями не пролегла
поперёк садовой дорожки,
когда меня оттягивали назад поршень берегового бриза,
страх, необязательность?
Небольшая пустыня света, в которой я дремлю,
склонившись на руль; кто ещё
пробивается ко мне по затихшей гортани ветра,
чьё письмо поблёскивает
между веток? Да и письмо ли?
Кто знает, что я ещё не сплю, что я ещё не выслан вниз
с ключами и пустой бутылкой, и даже засыпая,
всё ещё слышу, как они тяжело переворачиваются
в постелях – Александр и Блага?
«Почему – спрашиваешь, – останешься на полпути,
оказываешься дальше всех?»
Где-то есть министерство ответов, кто-то должен
заканчивать истории. Но сейчас
я возвращаюсь к окну, оставив всё недослушанным,
и вижу лишь освещённое место,
какую-то прояснившуюся площадку среди травы,
не в силах оторвать от неё глаз, пропускаю твой уход,
твоё долгое стояние под лампой в прихожей,
громыхание посуды, жужжание молнии,
кто-то посылает мне этот свет и, наверно, ждёт ответа,
визита, звонка,
но обратного адреса нет, можно только стоять
и смотреть в небо или на реку,
или, дописывая строчки световой скорописи, молчать,
закрыться в кабине, погасить фары,
молчать.

Одни лишь подступы к игре

1.

Сквозь отворённые двери не видно ничего.

Моя голова – как сачок, которым кто-то ловит
ночную бабочку,
разгорячившись, выбегает во двор, и ещё какое-то время
размахивает им в черноте.
Пока он опускает руку и гаснет, словно
вольфрамовая нитка – начинается стих. Когда возвращается
к столу, где светит жилка трепетной реки – стиха уже нет.

2.

Слюна моего тела была мне точным оружием
все долгие июли и августы,
когда мир кружился, как пузырьёк в игрушке,
когда рассыпалась лучами
выигранная горсть монет, посылая сигнал тем, из «стайки»,
и они подходили без страха к нашей отважной зелени,
убежищу от дождя,
полному ржавых ножей и сливовых стрел. Напрасно.
У хромой собаки было больше власти,
чем у всего кодекса симпатии,
или как об этом сказать.

3.

Как можно вырасти из времени?
Запнуться на трухлявом молу
и сломать себе жизнь, как запястье?
Держаться за пёрышко, которое кто-то
бросил тебе давным-давно, и смело нырять в зелёную воду?
Верю, что там, за порогами, тоже есть кто-то живой,
может, даже
целая деревня исступлённых пловцов,
женщин с раздутыми мехами, детей-
пеликанов, которых спасли капризные щёки. Ложа птиц
с круглосуточной почтой, приносящей единственную новость.

Прерви меня, если это не так. Там ничего нет, одни
только огни, голограммы, плюмаж, надушенный будуар, нужный,
как лысому гребень.

* * *

Двадцать четыре километра на такси, сон,
Переезд через полузатопленную дамбу – как? А вдруг
Придётся повернуть назад? Свет может ходить один;
Даже лучше, если рассеянный: мнётся на входах во светомеры,
Поворачивает за шаг от твоего зрачка. Что-то возле дороги,
несколько сломанных
Жердей, будто опрокинутый на спину конь.
Ты помнишь про инфразвук? – тот же принцип.
Если ехать или идти ещё медленней,
Превращаешься в нечто, похожее на медузу,
свет фар твоего преследователя
Перестаёт тебя различать.
Если совсем гаплык, можно с разгону изрыгнуть
заранее проглоченный камень
Морские пехотинцы научились этому у какого-то сорта
солонководных рыб.
Грузовики с надписью «HYPERBOREA» преградят тебе дорогу,
Разбрызгивая струйки разведённой соли.
Весь мир проснётся и двинется под тобой, тут главное –
удержаться на ногах
Несколько первых секунд. Но что там, ты уже летишь
по железному мосту,
Впереди – «сити лайтс», как огни аэродрома, призывают
в тумане крылатых существ,
Цветы давних бунтов берут на бордаж новенькие
прогулочные катера.
Ты всё-таки оказался здесь? Значит, всё было напрасно?
Кто-то поселил смерть в узком проёме между двумя
полосами движения, там,
Где мигают жёлтые маячки.

* * *

Стоит напрячь некий особый мускул – и ты уже там, смеёшься и крутишься, как однокрылка! Раньше и я так упражнялся. Так могут вскипеть всегда покорные воды. Простой бунт воды, а всё жужжит, как раскрученная пальцем пластинка.

Всё это было и могло бы вернуться – тот цвет мира, надежда, проложенная хлебом и мхом. Может быть, кто-то позвонил, а я как раз вышел на кухню за какой-нибудь мелочью? Или кто-то пытался меня разбудить, дунув в лицо?

Как себя описать? Как теперь себя описать? Мясо, много раз ошибавшееся с формой? Впереди ещё две поляны разной площади, с полосами солнца, с чужой обувью, где живут поколения бессонных мурашек.

Водный знак

*Несомненно одно. Какими бдительными или
неуступчивыми мы бы ни были,
Слава Богу, нельзя рассчитывать на то, что мы узнаем
Весь ужас или всё счастье этого мира.*

DJ Енрайт

Когда и где ещё я смог бы именно так проснуться?
Застывший, развёрнутый вверх лицом, будто
каким-то внезапным и точным циклоном?
Кровь возвращается и заполняет приготовленный для неё сосуд.
Богуш курит на берегу, ожидая перенесённого во времени
отплытия, как маленький
размытый инициал, раздвоенный след. Птица расписывается
в воздухе, на чистом бланке,
безответственная, как и положено тем, кого оставили
в одиночестве.
Опустошённость приходит под утро, без предупреждения.

* * *

Мир переполнен ангелами –
в закоулках тела, где концентрируется полуденный свет,
в просветах между вагонами, пролетающими без остановки
мимо горной станции в массиве Тауэрн, они
диктуют своё начало, они знают, как начинается стих,
как во тьме вращается маленькая Вещь, будто зерно,
ещё не вынутое из чётков.

Они скандируют бесчисленные начала,
ожидая на верхней лестничной площадке, а после –
подскажут, как использовать сквозняки
под крышей для экономного парения.

Я знаю, как ты сидел на перроне горной станции
в массиве Тауэрн, наблюдая
за краткими и точными вихрями,
заплетаемыми клочья ваты.
Даже тут, в горле стального источника, ты не свободен
от ангелов, проповедующих
обмякший графит и исповедь внутри девяти
освещённых отверстий.

Ты откажешься от лестницы –
её принесёт услужливый аптекарь –
когда будешь пробираться к полке, на которую давно
не заглядывали. Ты откажешься окунуть
руку в мраморную чашу,
стоящую возле входа.

Да, в воздухе всегда есть сотни открытых источников,
и забываемый сонм
ангелов, от него можно отделиться быстрой
и мутной кометой.

Стих
начинается в пыли, ненавистный и звонкий,
как сорванная уздечка.

Ещё одна макабрическая песенка

Скажешь, разговаривать и улыбаться в
широко растворённое окно, стоя по пояс
в подтопленных воротах?

Имеешь в виду наши детские представления о смерти?
Например,
Нечто вроде коричневого сердца, нарисованного
чуть ниже на коже?
Меченое место: здесь похоронили братьев-пьяниц,
я знаю, здесь плавают их одежда.
Не припоминаю имён, хотя как-то мы пили втроём
в душном фургоне.

А теперь у них тихая паровая кухня,
фирма «Молочные братья».
Если хочешь, глотни глубже, и я смогу тебя туда завести.

Холодное прикосновение воды

Тут загадка, которую я не могу разрешить,
маленькая, как блошинный глаз.

Кто-то вспомнил обо мне в чьё-то отсутствие.
Две жерди воткнуты кем-то у самой воды,
обжитые светляками, словно ворота
для игрушечных гидропланов.
Кто-то поспешно раздевался на песчаной полосе, и сбегал
к ещё живой после дня воде, и возвращался, улыбочивый
и непредсказуемый, словно континентальная погода.
Звякают ключи, выигранные в короткой перепалке
с кем-то, с верхнего этажа, где белые полотенца.
Кто-то первым побежит в правильную сторону,
когда опустится ночь, услышит голоса со станции,
услышит свист пара.

Побежит, размахивая прорырыленными руками, как пьяный
рыбак с крючком, пропоровшим ладонь, с шатким
удилицем, указывающим путь теням.

* * *

Мы – последний вагон, не вместившийся под арку вокзала,
ещё не отмытый от следов старых уличных пожаров.
*Если хочешь к нам, пробивайся сквозь дождь,
пробивайся сквозь снег, если хочешь с нами за стол.*

Знаю, что можно танцевать на льдине или ночевать
в жерле вулкана,
и смерть будет там же, где и всегда, не ближе, но и не дальше.
Будет самым тихим из приглашённых, с которым
Хозяин всё забывает познакомить тех,
кто приходит. Будет сидеть, улыбаться,
мурлыкать нашу мелодию.

Снаружи
небо сверкнуло над водой,
и воздух на вкус, как олово.

Август, 18

Да, говорит Богуш, теперь написать стих – то же самое,
Что плюнуть под водой.

Несколько минут идём молча, я не знаю, что на это ответить.

Всё разогревается от наших шагов, как масло в двигателе,
Из цинкового ведра, заменившего мусорник, торчат
Полумёртвые рыжие гладиолусы.

Их так немного, историй, в которых мы до сих пор находим
забытые вещи.

Слова тают, как лёд в стакане; ты пил коньяк, а теперь
Тянешь сквозь соломинку подкрашенную воду.

Знаю: когда-то
Мы будем угасать, как прожектора на стадионе, один за другим,
Под шум толпы, выходящей и оставляющей на сиденьях
Инструменты радости.

Неизвестно чьи следы

Несколько размытых знаков, вымокшая
карта,
сломанные кем-то ветки, вслед за которыми я иду, –
больше и нет ничего.

Иона

Темнеет, во дворе подростки
держатся за руки, крепко и трепетно,
будто земля уже когда-то дохнула под ними, и теперь
может дохнуть снова.

У них хорошо растёртые маслом мышцы,
разогретые зрачки. Их кожа горит сквозь одежду, пламя
шатает участок кирпичной стены,
тени высоких деревьев. Их легенда. Свечение
зеркальца, в котором пробегает беглец, будто Иона.

Неправда.
Вверху, несколькими этажами выше, на хребте
неприбранной постели – я вижу –
его тело лежит, молчаливое
и пустое, словно флаг из мешковины.

Алина

Танцевала, потому что ещё теплы вечера,
и мир свёртывался, словно
ковёр после городского праздника,
и были фонари над красной листвой.
Танцевала, потому что хотела вернуться и
знала, что воображение не воскресит вещей.
Танцевала, пусть лучше тело вспоминает:
так просыпалась, так засыпала
на влажной палубе, так ждала, пока
загрузят вещи. Так бежала
за вислоухим псом, которого не хотела
им оставлять.
Танцевала, потому что нет уже
мест, штампов, обратных
адресов, банков, комендатур, больше нет
улицы, водной помпы, недокрашенного
забора, мыльничек, щётки.
Всё – в одной подвижной точке,
сжатой, словно запястье,
в котором собралась
вся кровь.

Отец Шуплат

Мы боялись садиться в его кресло,
чтобы к нам не склонились его тени,
то нечто, от чего он стонал, когда оставался
на кухне один. Как он заливал кротов
в норах – никогда я больше не видел такого
задора. Как разорял гнездо ос, которые
наказали меня однажды за мою
чрезмерную любознательность! Каждый раз
брал с собой в лес ружьё, но никогда
не приносил большей добычи, чем мешочек
с грибами.

Не знаю, кто говорил с ним по воображаемому телефону, кто преследовал его в послевоенном Станиславе, может быть, были пытки, может, раскалили крест и приложили к голой груди, я слышал о таком. Понятно: далеко убежать нельзя, можно только спрятаться за камень и повернуться лицом к воде. И немного передохнуть, положив на колени незаряженное оружие, и смотреть на день, пока он не принёс ещё никаких новостей, и на всех волнах пока ещё музыка.

Лейтенант

Я резко свернул и напрямик съехал в лес. По дороге было нельзя, сзади шла следующая колонна. Бах! – и огонь отступил, чтоб через миг нас обнять. Может, кто-нибудь решил прочесть нас сквозь брезентовые конверты, просветив до мельчайшей жилки?

Кто верит в равновесие событий,
 пусть считает меня справедливо
наказанным. Дезертир? Головешка,
которой неудобно показаться врачу,
заниматься любовью при свете,
 и к тому же никогда – повторно.

Заслуженное посмешище, придурковатый наставник
для детей из хорошей семьи, позволявший себе напиваться,
идёт с самыми младшими в сад, когда их выгоняют
играть. Один; с будущим, заткнутым
цветными лоскутьями и распоротым покрывалом.

Пример ни для кого. Кручусь на стуле, будто в меня
вселился дух: к окну – день, к стене – ночь,
идеально круглый, с дыркой посередине.

* * *

Благодарю: наверное,
я нечасто проходил между лезвиями. Почти вся
уделённая мне темнота прошумела за моей
спиной.
И тебе, Самая Тихая Рука, нечего мне
вернуть –
 всё худшее, что я слышал или видел,
мне не принадлежит.
Но всё же заведи себе 47-ой год. Я отдаю его, потому что
больше никто тебе его не вернёт.

Начну с ноября, в котором
родители моего отца стояли
 на железнодорожной насыпи
со своими чемоданами и узлами, крохами
навсегда уже чужого дома.

 Здесь
им приказали селиться, в этом месиве из глины,
железа и листвы.

 И если бы не ветер,
который внезапно начался и стал их тормозить
за рукава и воротники, то они
 остались бы на ночь на колее,
в своих
временных гнёздах – отдававших ещё то тепло.
Но они сошли и дрожали до утра
в редком кустарнике, и блуждали
 между дремотой
и взбаламученным сном.

 А на утро
уже не к чему было возвращаться, ночью
проехал локомотив.
 Посланная за ними смерть
разодрала их чемоданы.

Самая Тихая Рука, что же,
ты подарила ветер. Теперь забирай всё –
 вместе с этим ветром

и листвою, и ключьями одежды, и разбитыми
стаканами.

Я не научился быть благодарным
за один остановленный жёрнов,
за пропасть, к которой стоишь спиной,
за те считанные миллиметры, на которые ошибается
их сталь.

Адам

2.

С той стороны стекла – безлюдные игры воды, и никто не видит
моих остерегающих знаков,

есть только он один – палец, танцующий
на оконном стекле, открытом из тьмы во тьму:

Дмаа, Адма, Адам, Адам.

3.

Скажи: почему ты пришёл, а
не разуваешься?

Или снова – как и всегда –
на велосипеде, без рукавиц?
И сорвёшься в худший из ночных дождей,
проснувшись голым
в темноте оранжереи?

Верный
единственной своей любви,
раскрывшейся для тебя когда-то,
как цветок,
на котором ты неосторожно уснул?

Или
будешь снова приезжать под обугленные
ворота, чтобы попросить прощения

у крапивы и пырея?

Или
будешь стоять, как огородное пугало?
Адам.

Мои сыновья скоро будут учить тебя.
Мои
козы покажут тебе,
как пройти к воде.

* * *

Говоришь, мы
лишь перебегаем из большого в малое
и обратно –
таковы все наши разговоры?

А ты помнишь эту игру –
мы выдумали её одним летом, когда мир
был, как янтарь,
который долго тёрся между большими грудьми,
а мы не могли усидеть, и нам некуда
было деться, и мы немного скучали, и
немного были бесстрашными воинами,
переступавшими порог тайны,
и ты – ведь правда? – выбежал на солнце
из тёмного чулана и сказал, что как будто ослеп,
что видел пузырьки, полные
летучих муравьёв,
и мы тоже захотели увидеть,
то есть ослепнуть, мы не знали, как так
бывает, и бегали из света в темноту,
а потом обратно, в раскалённый двор,
переноса в зрачках свой рой, золотистый
во тьме и густо-синий на солнце, или
розовый и серый, или радужный и совершенно
чёрный, главное было – не задерживаться
нигде,

ибо, лишь быстро передвигаясь, ты видишь свет в темноте и темноту в свете, и в мелькании, полуослепший, сам становишься тем, кто виден только изредка – становишься ангелом, так перебегая.

И кто из нас с тех пор остановился?

* * *

Не слово, только закрытый слог: катастрофический, последний – он тушит освещение на палубе. Как ничья мантра, как мёртвый порт с застоявшейся водой.

Один гласный и два смягчённых согласных.
Это я, я.

Думая о Чеславе Милоше

«Поэт – словно форточка, которую забыл закрыть хозяин, оставляя этот дом надолго».

Я не расслышал. Может, он сказал «ненадолго»?
Какое же постыдное поручение: ожидать Отца с сеткой овощей и не сметь ни поставить её, ни уйти – а одноклассники рядом заняты милыми озорными делами!
А потом, дождавшись, вести через дорогу велосипед с изумрудной пекинской капустой на руле,
с Его тяжёлым телом в седле
и рассказывать Ему:
чудо, чудо, я проснулся сегодня и знал, что Ты придёшь, я ждал.
Так пройти целый город, и ещё раз, в обратную сторону,

и вернуться туда, где только что был овощной магазин, и с тревогой искать другие ориентиры, вести этот велосипед с уже спящим телом Его и без конца петлять в сторону, где должен быть дом, уже не в состоянии вернуться и окончательно запутавшись, –
Христос и Иосиф, Иосиф и сын его, Иаков и сын его Иосиф, –
отныне поселены друг в друга: так два подсолнуха ночью не могут друг от друга оторвать глаз,
гонимые пустым городом, всё ещё смутно счастливые, ещё не окончательно спасённые.

Свобода

1.

Свобода даётся незаслуженно, как и любовь.
Ты нашёл то, чего не искал.
Счастье с чужого плеча. Инструмент со многими струнами и нулём инструкции. Можешь выкурить свободу, как страницы с текстом на непонятном языке. Твоя вещь, принесённая и брошенная тебе слепым щенком. Аминь.
Не ясно?
Пойди, переспроси.

2.

Он сидел на скамейке запасных, как и всегда.
Ребёнок от какого-то иного отца, чем у всех остальных, братьев-близнецов, одинаковых, как жопы в бане.

Уже несколько дней
его даже не ставили на ворота.
Тени,
путешествия по горам, давно, весной.
Все какие-то уставшие, бьют слишком сильно, и
когда мяч
перелетает через стену, охранник
прерывает свою послеобеденную дремоту. Раз
и другой. А на третий
посылает его за мячом.
Эти двадцать два на поле –
с задранными головами, замершие и мокрые,
будто над ними расступилось море.
Он выходит за ограждение, проходят минуты,
а волны всё не смыкаются. Наверху
переполох, им велят надеть футболки и
вернуться в корпус,
но они не трогаются с места,
всё ещё не в силах поверить, защищённые
одной лишь прозрачностью, будто приложенная
к стеклу рука,
в миллионы раз бестелесней,
чем любая сила,
чем любое слово,
которое казнит или милует.

Зима

Кажется, там купали ребёнка – его младенца, –
Кухня была полна пара и напоминала
волшебный фонарь: несколько фигур,
вращавшихся вокруг нежного центра,
А дальше он –
внезапно возникший на тропинке, тёмный и неподвижный,
в накинута куртке,

словно здесь, на дворе, зазвонил телефон, а он,
не успев добежать,
ищет его теперь среди промёрзших деревьев:
гнездо, где вылупился смутный голос.

Стоит и видит лишь то, что различимо: сломанные ветки,
будто узкие рукава в серой стене кустов,
по которым кто-то
продирался отсюда на другую сторону,
чтобы через мгновение
обойти кругом и вернуться.

Змейка

Грузчики и портовые работники сняли девушек на вечер.
Угольно-чёрная палуба застелена пледами;
Бутылки и пакеты с соком, аккордеон; одна девушка
Выгибается, завязав футболку узлом.

Возле самого берега колышутся сети,
Словно кто-то охотится сквозь сон, вслепую, медленно
Танцую.

Говори, бормочи, зови меня, Змейка,
Пока я ещё не проснулся.

* * *

Маленькая Людка – помнишь эту чумазую соседскую девочку? –
и пёс, который приплёлся за твоим сыном,
а потом
исчез во время одной из зимних рыбалок, –
может, они приходили только к тебе,
чтобы ты смогла потом узнать их там?
Человек,
человечек и животное – так вы

Я с обитателями вокзала – они высыпают на платформу
ровно в полночь,
когда начинается санитарный час,
и под надзором дорожной полиции пятьдесят девять минут
инсценируют отъезд,
а на самом деле ожидают мгновения, когда можно
тихо вернуться.

И я – жду. Словно ликвидированное министерство
путей сообщения, тёмное здание
посреди обычного городского движения –
в нём осело всего лишь несколько сердец.

История

Тёплая, неразделимая с морозной ночью,
словно рукоять со своим ножом.
Тело –
её нежное посольство,
А государство её – тёмные дворы,
где могут убить чужака.
Я знаю,
я позволяю половине её лица жить в темноте,
не передвигаю лампу.
И не спрашиваю,
но она сама начинает рассказывать.
Сын её просыпается,
будто сбивается с ритма сна.
«Четверо суток, –
говорит она. – Тогда мы дольше всего
не поднимались наверх.
На третий день – или ночь – закончились свечи,
и я начала вспоминать,
нарочно,
ничего конкретного,
просто окно в комнате. Какой-то

день, который не начался
и не закончился.
Вечер, когда идёшь ко сну,
выключаешь свет и знаешь, что в темноте
цветут деревья и охотятся ночные птицы.
Утро,
когда дремлешь стоя, а каша никак
не закипает.
И, может, все эти годы
монотонных пробуждений, когда ничего не происходит,
назначены нам,
чтобы мы,
словно камень,
долго лежащий на солнце и запасаящий тепло,
в одну тяжёлую ночь
согрели чью-нибудь щёку?

Любовь

Такое покалывание,
словно тёплый фаянс
берёшь перемёрзшей рукой,

или тело, отерпшее со сна,
пересекает комнату,
ещё слегка подволакивая ноги
и улыбаясь.

Такое покалывание,
как тогда, когда папу
почему-то не брили уже несколько суток,
а он лежал,
словно
солёный и перегретый камень,
и по очереди нас обнимал.

Такое покалывание, словно
долго ёлку несёшь сквозь тугой
от мороза воздух,
и знаешь, что кто-то
среди людей,
убаюканных Святою Вестью,
всё ещё ждёт и не спит.

Орфей

На самом деле у этой истории
есть предыстория, и она –
про мальчишку, который боялся воды.
Но он шёл со всеми на берег, карабкался
на длинный камень,
и когда ребята ныряли в море, он оставался
там стоять, худой и растерянный,
и смотрел, как удаляются
головы в опахалах брызг,
и надеялся лишь на одно –
что ни одна из них не обернётся.
А потом отправлялся к ближним
домам, снося от бессилия
головы чертополохам,
не похожий на всех остальных –
подобный медной струне, случайно
вплетённой в корзину.
Ты знаешь этого мальчика?
Знаешь, в какое мгновение
из злости выходит музыка, словно бабочка
из перемёрзшего кокона?
Знаешь, где он был до самого утра, когда
родители нашли его в траве, потного,
со сцепленными зубами?
И скажи ещё: сколько злости может быть в стихе?
Ровно столько, чтобы
заглушить сирен?

Влюблённые на велосипеде

Она едет на раме, как птица, которая
ненадолго присела на ветку: раскрасневшаяся, оперённая,
с двумя сомкнутыми
коленками – они шлют нежные позывные
водителям встречных грузовиков.

Его видим неясно, зато слышим,
как фляга постукивает о седло при каждом обороте
педалей. Мурлыкает мелодийку,
с какого фронта он её привёз? Здесь такую не знают.

Она держит в горсти лесные орехи и угощает его,
не оборачиваясь, – точнее, подносит их наугад, а он
ловит орехи губами, похожими
на простроченную коричневую заплату.

Обратно со станции она вернётся одна,
похожая на бумажную фигурку,
сухая, ровная, двумерная,
привыкшая управляться с этой любовью, как
с добыванием обеда из ничего –
горстки чая и двух картошек.
Будет ехать сквозь первые удары дождя,
перематывая ногами засвеченную плёнку, бесконечный
пустой кадр, в котором он когда-то вбежал в гостиную
и долго кружил её в объятиях.

Вот он, праздный язык любви, торгующейся с надеждой,
как одноногий стул с печкой: ещё хоть до полудня
не беспокой, раз не дано мне
пережить эту ночь.

Отец

И эта удивительная игрушка, его
подарок: деревянный
меч, по которому
ещё долго стекала живица, –
ты помнишь?
Как туга голова в смерти, раз
она пропустила такую шутку!

А ступеньки, выдолбленные в пологом склоне
для матери, которая
уже не вставала с постели?
Отчего болезнь
оставалась глухой к этой
невинной магии, которой обернулась
вечная его непрактичность?

Вот мы в туче дыма и грохота
въезжаем в прихожую леса,
а он, придерживая одной рукой руль,
показывает в небе кречета.
Куда он исчез в этот день?
Как долго мы с братом ждали его и звали,
и слышали, как следом за нами из чащи
зовёт его кто-то третий.
Или мы, как и он, что-то тоже вынесли из юности?
Некий знак, по которому можем снова в неё зайти
ненадолго? А какой у него был пропуск?
Ночные гонки без фар, деревянные мечи,
плавание нагишом в ещё ледяной воде?

Были
и тяжёлые времена, и были минуты отдыха, были пробитые
баки, из которых вытекали бензин и масло, оставляя
на земле несмываемую подпись, были
дети его детей, – они снова командовали прилётами
ангелов, – и долгое угасание мамы, и дух её,

поднимавшийся по склону,
и тяжёлый неблагодарный труд
в старости, и память, которая умножает все контуры,
и возвращение давних привычек, по-стариковски упрямое и
жизнерадостное, к примеру, рыбная ловля до поздней ночи,
когда солнечный диск всё ниже, и тень отца,
дремлющая над удочкой, доходит до самых наших
стоп, не позволяя
ни уснуть, ни сосредоточиться,
и была потом
внезапная вспышка, когда отец включал
освещение в спальне,
под утро вернувшись оттуда, из своего места над водами,
улыбающийся, с ведром,
почти полностью пустым.

Никарагуа

Выбегают ребята из школы,
похожей на синий ларец, и поют:
«Когда мы погибнем,
пусть наши сердца станут опавшими сливами, –
они, источая запах, насытят собою ос
и переселятся в белизну».

Выбегают девочки из школы,
похожей на синий ларец, и поют:
«Когда мы погибнем,
пусть наши сердца станут рыбками, –
они, увидев сквозь воду кружение цапли,
одним рывком переселятся в черноту».

Шепелявит помпа рассечённой губой.
Какие-то крики из-за угла – и дети бросаются врассыпную.
Танцуй с нами, наш неразумный брат, пока
глазной белок не сверкнёт в темноте над тобою.

Костик

«Раз уж спросил ты, скажу:
я представлял Его себе, как умел,
да и где бы я мог Его видеть?
Был один образок, уже сильно затёртый,
вымокший в ящике во время паводка, когда
я держался за шею собаки
и плыл в глубоких сумерках.
Кое-кто ещё Им приветствовал, Им отгоняли скот,
Он посвистывал надо мною, словно ремень,
когда я возвращался домой
после долгих вечерних походов,
исцарапанный и повзрослевший.
Он мог быть пастухом, взломавшим чужую дверь
поздней ночью, к примеру.
Думаешь, я с тех пор хоть чему-нибудь научился?»

Один, как последний двоечник, прогуливающий школу
даже под проливным дождём, я жду
на железнодорожном переезде
и смотрю, словно сквозь состав, туда,
где что-то поплёскивает в щелях между вагонами,
смотрю неотрывно, до тошноты, и когда
чёрные цистерны
становятся не более, чем дефектом изображения,
там, по другую сторону, наконец, я вижу
Его лицо:
освещённый луг, высокие ели в бородах мрака,
несколько лучей,
играющих на устах воды».

Младший

Тут кто-то приходил к тебе, папа.
Сказал, что в следующий раз придёт не один.
Его пёс обнюхал меня, у него был сухой и горячий нос,

может быть, он был больной?
Он пахнул горелым деревом, как в нашем старом чулане, где
Алинка опрокинула лампу.
Этот кто-то присматривался ко мне.
Я не боюсь его и не хочу, чтобы ты боялся. У меня есть меч.
Я знаю такие слова, которые отгонят его, но сейчас
не могу их повторить, они не разбирают, где свой, где чужой.
Я знаю многих животных, они нас защитят.
Во сне ко мне пришёл огромный японец
и научил меня драться. Под мышкой
у меня выросла особая кнопка, но ты
не говори никому. Она немного болит.
Если преследуют, стоит нажать – и ты исчезаешь
раз и навсегда. Пообещай,
что не станешь с ним договариваться, и что
не пойдёшь ни в какое условленное место, не будешь
принимать от него подарков. Что даже пса
его не погладишь.
Во всём остальном ты мудрей.
Я вижу, как мы отплываем на деревянной барже,
заросшей, как остров, и полной тропинок.
Впереди темнота, но в ней – какой-то тихходный катер,
штурвал и сигарета. Но кто буксирует нас в эту тьму
и, вреде бы, озирается:
поверим или не поверим?

Янтарь

Скажи, это шутка была? Я копал
целую ночь, как ты приказала,
и надо мною смеялись мыши.
Казалось, я видел, как с той стороны
нагревалась листва,
как там собирали в школу детей,
надевая им белые воротнички,
как проверяли, выключен ли уют,

как жестяною лейкой
поливали петунии.
И я бы поклялся, что слышал,
как бьётся сердце сквозь глину. Выходит,
я зря растревожил надежду?
Зря листал землю, искал в ней
хотя бы одну светлую строчку?
Поясни мне это, пока я стою
и разглядываю ладонь,
на ней – под безымянным пальцем,
где натёрла ручка лопаты, –
наливается зерно янтаря,
словно лампа, ненадолго включённая
в каком-то моём чистилище
моей же рукой.

* * *

А что делать с надеждой?
Она словно конь –
ни оставить её на песке, ни взять
с собой в лодку.
Ещё покорнее, чем тогда,
когда везла нас на себе и почти
не просила есть.
И не её вина, что мы
ничего здесь не нашли,
а уже и пора
отчаливать.
Может, если отпустить её, то она
вернётся к какому-нибудь своему
дому?
Какому дому?

Король

Он охотно играл с нами в эту игру, пока
не уставал и не
засыпал на скрипучем троне,
выпуская из рук скипетр из индюшиных перьев.
Наш апрельский король, и августовский король,
и осенний король, но никогда не зимний,
потому что зимой были снега и ранние тени,
и заметало склон,
по которому вела к нему единственная дорога.
Заоблачное королевство, о котором не знали даже
наши братья и сёстры, королевство Кария.
Мы выходили из дома тихонько, сквозь заднюю калитку,
и по дороге готовили для него подборку новостей:
ребята из Лугов проиграли,
сахар кипит на горячем камне,
знакомый уснул в лодке и утонул. Бывало,
он учтиво надевал корону, едва лишь
мы заходили в сад, а бывало, капризничал, и тогда
нам приходилось разгадывать загадки –
их отгадок не знал он и сам, и только
махал рукой и смеялся над нашим упорством.

После трапезы и чокания компотом
было время аудиенций,
и мы становились по обе стороны трона
с еловыми копьями, суровые, насторожённые,
ведь бог знает кто мог прийти к нашему королю.
И кто-то приходил каждый раз, но кто?
Или приходили те, кому тоже связывали
рукава за спиной? Или приходили, те, кто связывал,
чтоб испросить у него запоздалое прощение?
Или приходили
те, кто забыл его за годы болезни, уединения,
чтобы привести в порядок свои заметки?
Или приходила женщина, чтобы долго-долго смотреть,
а потом вернуться к мужчине в машине,
откупившись Божьим заступничеством?

Приходит король апрельский, июньский
король приходит,
приходит король осенний, а зимнего короля
нет.

* * *

«Даже от разрывной пули,
бывает, остаётся всего лишь царапина.
Так вот: из этой войны я запомнил только,
как в один из последних дней
конь
вывалился на повороте с платформы
узкоколейки, и некому
было за ним вернуться, и некому
было забрать его из-под насыпи,
дети кормили его травой,
а он лежал
с поломанными ногами и матовым глазом,
чёрный-чёрный,
как знак, что ночь, отступая,
разметила по нему путь для ночи,
которая шла вслед за ней».

* * *

Кто-то, Алинка,
выдаёт нам жизнь, как учебник.
Нудноватый, но обязательный. Мы
листаем его быстро,
не более, чем
два-три слова пометив ногтем,
а чаще – бьём им или заслоняемся
от удара.

Бывает, что уходя,
оборачиваемся и вставляем его
в дверную щель:
эта дверь должна бы уже закрыться
за спиной: но вот –
моя жизнь, и вот – твоя жизнь,
летят, словно две стрекозы, сцепленные в полёте,
безумные, беспамятные, с одной на двоих
мёртвую голову.

(Почти экспромт)

Дерево, под которым мы разделись когда-то,
ещё почти детьми, и не знали, что делать дальше.
Дерево, по которому бабушка узнала место, где был дом
её юности.
Дерево, в которое я бросал ножи.
Дерево, полное осиних гнёзд, которое напрасно учило нас
осторожности.
Дерево, которое мы грабили сонным, когда под инеем
ещё желтели яблоки.
Дерево, на котором много десятилетий были девчачьи
качели, пока моя сестра не покалечилась,
слетев с них.
Дерево, в котором жил конь.
О чём они будут говорить, когда
соберутся через много лет после нашей смерти,
чтоб отдохнуть наконец в тени собственной тени?

* * *

Что-то эдакое почерневшее,
чуть больше детской ладони. Словно
обрамление для какой-то

мелкой жизни.
Я долго смотрю,
пока не узнаю её – да, это праща! Каштановая
праща, единственная вещь, которую отец
сделал для меня,
когда я вечерами боялся ходить мимо леса.
Моё первое и последнее оружие,
которое я месяцами грел в пропотевшем кармане.
«На, – сказал мне отец. –
Носи, пока не перестанешь бояться.
А потом не выбрасывай, где-нибудь спрячь». Праща,
скажи, ты пришла, потому что узнала меня?
Ты услышала меня из-за какой-то нашей
общности? Почуяла меня, как брошенный пёс –
плетущийся сзади, приученный охранять?
Да, мне снова страшно, праща.

Латифа

«Малый спрашивает, конечно... Спрашивает,
когда мы вернёмся домой.
Как-то раз говорю ему, дескать, дом наш
забрали на небо. Не знаю,
что тогда на меня нашло. Говорю:
он был таким хорошим для нас, Алим,
что не мог больше стоять
на земле, как другие дома.
И столько в нём было любви,
столько слоёв любви
мы клали на пол, на двери,
оконные рамы,
и едва прежняя любовь отслаивалась,
мы клали новую, ещё старательней
и щедрее, ещё более белую и коричневую
мы клали любовь. И любовь цвета слоновой
кости, хотя дед говорил, что это не любовь,

а так, детские игрушки. Потому что для цвета любви
должно хватать одного слова.
Это всё говорю про себя, малому лишь
отвечаю: да, и за окнами
видно теперь одно лишь небо.
И ангелов видно.
Только в доме нет никого.
Потому что людям живым ангелов видеть нельзя»

Эпизод 2014-го

«Двадцать три года назад
я тоже просыпалась несколько раз ночью,
когда он плакал.
А теперь подросла,
всё делаю сама – и просыпаюсь, и плачу,
и себя убаюкиваю».
И улыбается,
а через миг уже заливается смехом: мимо нас
пробегают какой-то парень, спотыкается
и падает – на мешок муки, который
несёт в руках,
и взлетают кроссовки его высоко
в сердце белой тучки –
такой белый взрыв,
говорит она, такой тихий.

Запахи (отрывки)

1.

В окне морщит нос старуха
В первый раз его выставила в этом году
Всё пахнет иначе

Вибрирует горизонт, словно натянутый смычок.
В воздухе – струнность тел, и свет распадается на спектры,
и снег – уже и не снег, всего лишь белизна рубашек.

Ной

Вся прошедшая жизнь – как размокшая газета.
Разное там бывало –
новости, развлечения, кулинария.
Кто-то подходил в темноте и взъерошивал волосы.
Кто-то приезжал издалека и говорил,
что видел невиданные тучи.
Мы садили его рядом с собой, грели ему вино.
Плохие новости были для нас, как уксус к мясу.
Мы вставали, начинали медленно танцевать,
потягиваясь и щурясь,
медленно разгоняли круг, медленно останавливали.
Никто никогда не уставал, ибо вся усталость – от спешки.
Я путал своих самых старших и самых младших детей:
одни уже седели,
а другие ещё были белыми, как одуванчики.
Дымы обходили нас, мы не знали,
как пахнут горелые волосы.
Видели один смешной фильм о великанах.
Жертвенные наши ягнята
поднимались легко, раскачиваясь,
мы задирали головы и верили в точность божьего пальца.
Ходили ветра, ангелы отмечали наш дом крестом.
А теперь – так тихо, что невозможно уснуть.
После театра сна
я начинаю утреннее представление
для одного зрителя на балконе.
Я – отличник, умник, который
всегда оставался в классе, когда
другие сбегали в сад. Моя жизнь на столетие вперёд
была записана мелом на воротах. Моя пружина
никогда не выстрелит.

Двое в лодке

Брат, мы вовремя повернули.
Забудем, кому кого было нужно поднять на вилы.
Теперь надо пройти всё до конца.
Наши родители станут двумя седыми детьми, а после –
сляной и глиной.
Птицы заклюют свои яйца, рогатый скот
вернётся в собственный рог,
плодовые деревья одичают и пожрут друг друга,
и расслоятся скалы, как ногти,
и обмякнет твердь,
и мелькнут вечер и утро, день третий, второй и первый,
и когда свет над телами свернётся, как молоко,
мы услышим дух, носящийся над водою.
Знаешь этот безымянный шум?
Мы ещё никогда не были так далеко и так близко от дома.

Бабушка рассказывает

Только теперь, когда она почти лишилась слуха.
Когда никакой шум не может ворваться в комнаты
её истории.
Она проходит по ним одна в полутьме, позволяя
нам подглядеть сквозь щёлку.
Открывает шкафы, вынимает выцветшую одежду,
прикладывает к себе.
Ходит своим голосом наощупь, как слепой
по площади, полной солнца.
С кем она говорит? Мы уже ничего
не понимаем,
что-то пытаемся уточнить,
словно кричим снизу канатоходцу,
которому нужно только дойти и сделаться вздохом.
Раздражаемся, хотим пояснений
и сразу же умолкаем,

когда она говорит:
у меня всегда было место,
куда я ходила поплакать.

Свадебная музыка

Радость –
словно нектар,

словно открытая рана в море,
что сзывает голодных рыб.

Кентавр

Кто из нас первым
увидел в нём учителя, когда
он ещё развозил хлеб на трёхколёсном мотороллере?
Мятая Шляпа
и его придурковатые апостолы!
Он один умел изо всего делать музыку.
Какой из нас
был оркестр, когда мы ехали в кузове,
играя на камыше, травах,
консервных банках, коробках,
какие концерты устраивали для гусей и коз!
Его смычок мог быть луком,
его сопилки били сливовыми пулями.
Мы были воинами-музыкантами, орденом шансоньеров,
мастерами бумажных самолётиков и рогаток из осины.
Вечные прогульщики, мы сами
присоединяли вещи к словам;
но вещей всегда было больше, и к лишним
мы добавляли смех.
Он замолкал, его лицо зарастало

бесцветной бородой; казалось,
его весы окончательно пошатнулись,
и теперь его место
в стойле:
конь с уснувшим всадником,
что бродит ночью и тычется в замкнутые ворота.
Нас удивляли его башмаки – зачем они ему,
усталому зверю?
«Мои башмаки мудрее меня, – говорил он, – потому что
всегда
найдут дорогу домой».
Но где были они, когда он лежал возле леса,
босоногий,
с вывернутыми карманами? Он словно долго стучал туда,
но и там ему не открыли.
К какому дому пошла его обувь
и какую из двух его душ
забрала с собой?

То, что давно должен был написать

Мой дед не любил поэтов,
говорил, что они всегда как будто просят прощения,
даже когда приказывают или проклинают.
Раз так, дед, прости меня за ещё один стих,
и за то, что ты в нём присутствуешь.
Прости, что полжизни прошу прощения, но так и не научился
ни приказывать, ни проклинать,
что за «спасибо» и «простите» – за две эти нитки
привязываю каждое слово,
словно вбираю какое-то огромное ничейное свадебное
дерево,
а других слов избегаю.
Скажи, что вожу бумажного жирафа по саванне, –
и я буду вместе с тобой смеяться.
Приказы, проклятия, требования и укоры,

ответы неправильные и правильные
– опадают и шершавятся, словно осенняя листва,
и становится светлей.
Я представляю себе, как ты смотришь на меня
сквозь наконец-то прозрачные ветки
и принимаешь моё извинение.

Костик

Старик
так и не понял, что пережил.
В семьдесят летал во снах, как в пятнадцать.
Чесал зад, пока перед ним
расступалось море.
Жалел два одеяла, что забрала война.
Кормил кур, извинял кривды.
Поваленный кулаком на землю,
собирал монеты, просыпавшиеся
из кармана.
Был
как ветер, дёргающий воздушного змея, –
одна лишь причина без цели,
как бабочка, ощупывающая гнёзда света, –
одна лишь цель без причины.

Персефона

Тогда, в первый раз, когда ещё не умела прощаться,
стояла, одёргивала юбочку,
путалась в прилагательных.
«Никогда» и «навсегда»
были как смежные комнаты с выходом в опустевший двор,
фуга дыханий во тьме, ободранная стена,
на которую глазеешь целую ночь.

Мать оставляла на пороге клетчатую сумку,
и в ней тоже были «никогда» и «навсегда».
«Никогда» с лязгом текло в жестяную мойку,
влажное «навсегда» лежало рядом с мелом.
«Никогда» было невозвращённой монетой,
платьцем, так и оставшимся в витрине.
Как потом получилось, что слова вышли из вещей?
Когда прощалась во второй раз, уже не видела
ни одного из берегов.
Пятки так загрубели, что могла бы, наверно,
босиком ходить по свежему пожарищу.
В доме, где был интернат, разместили штаб и казармы.
«Никогда» и «навсегда» превратились в пар, который замечаешь,
когда он замерзает на рукавах.

СОДЕРЖАНИЕ

15 секвенций.....	3
Выход.....	4
Надо было легко оттолкнуться и плыть.....	5
Стихи на конец осени.....	5
Возвращение.....	7
Eva.....	8
Мария.....	9
Завтрак на траве.....	10
One smoky hour, before the day falls.....	10
Беглый огонь.....	12
Карта Гренландии светила над нашей постелью все летние ночи.....	13
Два стихотворения для Н.К.....	14
Christmasutra.....	15
Мне снится Богуш Золаи.....	16
Теннисный стол и сетка между деревьями.....	18
Get to.....	19
Tribute to Marcin Swietlicki.....	20
Одни лишь подступы к игре.....	22
Двадцать четыре километра на такси.....	23
Стоит напрячь некий особый мускул.....	24
Водный знак.....	24
Мир переполнен ангелами.....	25
Ещё одна макабрическая песенка.....	26
Холодное прикосновение воды.....	26
Мы – последний вагон, не вместившийся под арку вокзала.....	27
Август, 18.....	27
Неизвестно чьи следы.....	28
Иона.....	28
Алина.....	29
Отец Шуплат.....	29
Лейтенант.....	30
Благодарю: наверное, я нечасто проходил между лезвиями.....	31
Адам	
2. С той стороны стекла – безлюдные игры воды.....	32
3. Скажи: почему ты пришёл, а не разубаешься?.....	32
Говоришь, мы лишь перебегаем из большого в малое.....	33

Не слово, только закрытый слог.....	34
Думая о Чеславе Милоше.....	34
Свобода.....	35
Зима.....	36
Змейка.....	37
Маленькая Людка.....	37
Дом.....	38
00.00–01.00.....	39
История.....	40
Любовь.....	41
Орфей.....	42
Влюблённые на велосипеде.....	43
Отец.....	44
Никарагуа.....	45
Костик.....	46
Младший.....	46
Янтарь.....	47
А что делать с надеждой?.....	48
Король.....	49
«Даже от разрывной пули...».....	50
Кто-то, Алинка, выдаёт нам жизнь, как учебник.....	50
(Почти экспромт).....	51
Что-то эдакое почерневшее.....	51
Латифа.....	52
Эпизод 2014-го.....	53
Запахи (отрывки).....	53
Сизиф.....	54
Арза.....	55
Пасха зимой.....	55
Ной.....	56
Двое в лодке.....	57
Бабушка рассказывает.....	57
Свадебная музыка.....	58
Кентавр.....	58
То, что давно должен был написать.....	59
Костик.....	60
Персефона.....	60

Літературно-художнє видання

Остап Сливинський

ОРФЕЙ

Переклад з української: Станіслав Бельський

(російською мовою)

Обкладинка: Олена Левська

Макет та верстка Misheal_D

Формат 60x90/16. Папір офсетний. Гарнітура PartnerCondensed
Друк цифровий. Ум. друк. арк. 4,0. Тираж 200 прим. Замовлення № 04/17

Видавництво «Герда» 49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 60
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру серія ДК №397 від 03.04.2001 р.

ISBN 978-617-7097-67-8